

## Григорий Померанц Дважды два пять

«Я согласен, что дважды два четыре – превосходная вещь, – говорит человек из подполья, – но если уже всё хвалить, то дважды два пять – премилая иногда вещичка». Это кажется вывертом. Это в самом деле выверт, но не только выверт, и я сразу понял это, потому что за полгода до чтения «Записок из подполья», весной того же 1938 года, три месяца созерцал себя и всю землю, со всей ее культурой, песчинкой, брошенной в бездну пространства и времени. Единица, деленная на бесконечность, равна нулю. Это все равно, что дважды два четыре. Но я не принял дважды два, я не смирился пред стеной, и в течение трех месяцев созерцал свое дважды два пять. Если бесконечность, как ее понимают точные науки, есть, то меня нет, а если я есмь, то этой жуткой бесконечности нет, и бесконечность, в которую ныряет тангенсоида, – только условность, придуманная наукой для своих условных целей, а не реальность.

Дважды два четыре – метонимия научной модели мира, объективной реальности, о которую хоть лоб расшиби, а она не сдвинется. И хотя подпольный человек не знает слова экзистенция, он мыслит экзистенциально, он в одиночестве протестует против образа вселенной, созданного наукой.

Это не чистое отрицание, не шаг в пустоту. Вернее, не только шаг в пустоту. Шаг, чтобы преодолеть пустоту. Подпольный человек продолжает мысль Паскаля: «Человек слаб, как тростник. Порыв ветра может сломить его. Но этот тростник мыслит, и если даже вся вселенная обрушится на него, она не может отнять у него этого преимущества». Пока Паскаль не сказал ничего большего, он был в подполье. Оно кончилось вспышкой откровения, описанной на клочке бумаги, который нашли, после смерти Паскаля, зашитым в его камзол. Паскаль строго фиксировал начало и конец эксперимента, – выходило два ночных часа, – а суть передал одним словом: огонь. Дальше следовало нечто вроде символа веры: Бог Авраама, Исаака и Иакова, не философов и ученых... И т.д. Слово «огонь» передает, по-моему, вспышку внутреннего света, сжегшего страх перед всем внешним, уравновесившего внутренней бесконечностью всю бесконечность внешнюю. У подпольного человека такой вспышки внутренней достоверности не было, но он рвется к ней. В такие минуты он верит, что там, за стеной научных доказательств, есть ответ на его жажду, и ради этого ответа готов даже дать себе вовсе отрезать язык, и празднословный и лукавый. Впрочем, вот точно его слова: «не смотрите на то, что я давеча сам хрустальное здание отверг,

единственно по той причине, что его нельзя будет языком подразнить. Я это говорил вовсе не потому, что уж так люблю мой язык выставлять. Я, может быть, на то только и сердился, что такого здания, которому бы можно было и не выставлять языка, из всех ваших зданий до сих пор ни одного не находится. Напротив, я бы дал себе совсем отрезать язык, из одной благодарности, если б только устроилось так, чтоб мне самому уже более никогда не хотелось его выставить...» «Не подполье лучше, а что-то другое, совсем другое, которого я жажду, но которого никак не найду!»

Что представляет собой это другое, Достоевский языком подпольного человека не решался выставить перед публикой, но десятью годами раньше совершенно ясно описал в письме Наталье Фонвизиной. Первое письмо после выхода из мертвого дома брату, второе – ей: «Не потому, что Вы религиозны, но потому, что сам пережил и почувствовал это, скажу Вам, что в такие минуты жаждешь, как «трава иссохшая», веры, и находишь ее, собственно потому, что в несчастье яснее истина. Я скажу Вам про себя, что я – дитя века, века неверия и сомнения до сих пор и даже (я знаю это) до гробовой крышки. Каких страшных мучений стоила и стоит мне теперь эта жажда верить, которая тем сильнее в душе моей, чем более во мне доводов противных. И, однако же, Бог посылает мне иногда минуты, в которые я совершенно спокоен; в эти минуты я люблю и нахожу, что другими любим, и в такие минуты я сложил в себе символ веры, в котором все для меня ясно и свято. Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что истина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной».

Вне какой истины можно остаться со Христом? Очевидно, не вне истины из контекста евангельских слов: «я есмь истина», или «познаете истину, и истина сделает вас свободными». Складывая исповедь Достоевского Фонвизиной с исповедью подпольного человека, сразу же видим отказ от истины точных наук, от истинности логики и математики. Невозможно подойти к Христу, к Богу, к Целостности бытия (о которой говорится потом во сне смешного человека), нельзя подойти к правде последних глубин сердца, не переступив через логику научного исследования. Логика может ставить экзистенциальные вопросы, подводить вплотную к необходимости их, к самой «встрече», – как сказал бы Антоний Блум, – но встреча с внутренней бесконечностью всегда алогична. При подступе к Целому законы логики сминаются, как предметы при релятивистских скоростях. Тождество с самим собой, как единичным,

атомарным фактом,  $A = A$ , уступает место причастности Богу, а в пределе, достигнутом Христом, – к единсущности с Богом, к тождеству единицы с бесконечностью. Это невозможно утверждать, не выворачивая логику наизнанку, до формулы  $A \neq A = B$ .

Апостол Павел откровенно говорит, что для эллинов, создателей и носителей аристотелевской логики, его вера – безумие, и именно в безумии проповеди спасение мира. Тертуллиан бросил в лицо логиков свою веру в абсурд. Впоследствии церковь, став уважаемой, – особенно западная церковь – постаралась примириться с логикой. Но в догматических определениях соборов остались алогизмы. Особенно алогична формула, выработанная Халкидонским собором после нескольких десятилетий споров. Ереси, опиравшиеся на логику, были отвергнуты, Вселенская церковь остановилась на утверждении единства божественного и человеческого во Христе, которое – единство – «неслиянно, непревращенно, неразделимо и неразлично» (цитирую по переводу, принятому С.С.Аверинцевым). То есть единство неразлично, но всё же различается как неслиянное (то есть разделенное) и в то же время неразделимое (то есть остающееся плотным единством). Рационалисты не раз говорили об этом, пожимая плечами: “absurdum est”.

Это проблема не чисто христианская. В некоторых течениях буддизма абсурд становится общей формулой перехода от помраченного сознания к просветленному. Чтимый в северном буддизме святой мыслитель Нагарджуна показал, что всякое логическое предложение рушится при подступе к целому или разрушает его на мертвые куски – субъект, предикат и связку. Завершитель адайта-веданты, Шанкара-ачарья, колебался между своего рода монофизитством, растворявшим человеческое в божеском (истина – Брахман, мир – это ложь, Атман и Брахман едины) и своего рода халкидонитством (капля тождественна океану, но океан не тождествен капле). Сходные слова можно найти и в западной мистике. Например, у Ангелуса Силезиуса: «я без Тебя ничто, но что Ты без меня?» И у Зинаиды Миркиной:

Я сам ничто, я только капля моря,  
И потому все море – это я.

Свидетельствую, что стихи были написаны до того, как мы познакомились и я рассказал автору о Шанкаре.

Достоевский возвращается к этой проблеме во «Сне смешного человека». Смешной человек – его старый знакомый, обрисованный в письме-исповеди, которое тайком читает Неточка Незванова, то есть за тридцать лет до смешного человека из «Дневника писателя». Припоминание юности дает возможность переплести две интонации. До своего сна смешной

человек несколько напоминает угрюмого человека из подполья, а после – возвращается назад, к мечтателю «Белых ночей» и (если говорить о жизни, не вошедшей в литературу) к юноше, начитавшемуся Фурье. У смешного человека Неточки еще нет проблемы Паскаля, нет проблемы кризиса истории. Мучает его только то, что он неловок, смешон, некрасив, не нашел своего места в жизни. Это комплекс отчасти возрастной, перекликающийся с комплексами Николеньки из «Юности» Толстого, хотя никаких причин для сознания своей социальной неполноценности у графа Льва Николаевича не было, а у Достоевского были, и легко представить себе и «золотые мечты», впоследствии истоптанные в «Записках из подполья».

В «Бесах» Достоевский ударил по мечтам «окончательной плетью». А несколько лет спустя воспоминания юности вновь всплыли – и захватили. Припоминаются восторги, вызванные чтением Жорж Занд, встречей с Некрасовым... На фоне этого потока припомнилось и чтение Фурье, о котором в сороковые годы нельзя было и думать, как о литературной теме. В семидесятые годы явно не библейский земной рай становится основой историософии, довольно неожиданной для автора «Бесов». Видимо, чувство перегибов полемики, «перехода через черту» вызвало сдвиг в обратную сторону. Чем сильнее удар волны о берег, тем сильнее встречная волна; обрывки прошлого вплетаются в мистическое видение и дают эсхатологии позднего Достоевского, его вере в утраченный и чаемый в будущем рай живой язык юности:

«У них не было храмов, но у них было какое-то насущное, живое и непрерывное единение с Целым вселенной; у них не было веры, зато было твердое знание, что когда восполнится их земная радость до пределов природы земной, тогда наступит для них, и для живущих и для умерших, еще большее расширение соприкосновения с Целым вселенной...»

Таким языком иногда говорил деизм Версилова. Но здесь не деизм, опирающийся на разум, здесь глубинное переживание тайны Целого; а это живое переживание и есть мистика, шаг в глубину, где логика плавится. Но рисуется не глубина, достигнутая, пройдя сквозь логику, как у позднего Достоевского, прорвавшегося через логику подполья, а до логики, по-детски, без знания соблазнов логики, разрывающей наивную цельность, и достаточно одного современного человека, чтобы всё рухнуло. Можно понять это как путь от детской или дикарской наивности к нынешнему расколотому сознанию, а можно (и я думаю, это ближе к Достоевскому) как пророчество о гибели цивилизации – и эсхатологическую надежду на спасение, в которое Достоевский глубоко верит.

Развращение счастливой планеты излагается смешным человеком довольно сумбурно, отрывочно. Почему-то он начинает со случайно

сказавшейся лжи, бескорыстной лжи, почти детской лжи-игры, лживыдумки. Не развивая этой темы, он переходит к другой, выводит из детской лжи жестокое сладострастие и сразу же объявляет его причиной всего зла в обществе. Жестокое сладострастие – личный порок, мучивший Достоевского, и он сильно преувеличивает значение этого греха. Гитлер, по-видимому, был импотент, Бен Ладен мог бы жить в гареме с сотней красавиц, вместо чего ведет аскетическую жизнь, полную опасностей, и устраивает взрывы.

История общества начинает просвечивать в рассказе смешного человека только тогда, когда он доходит до науки, до преувеличенного развития левополушарной активности, не уравновешенное усилием к «царствию внутри нас». Одной из ступенек к губельному водовороту оказывается обрядоверие, надуманный разумом культ. Но поклонение кумирам не спасает:

«...если б только могло так случиться, чтоб они возвратились в то невинное и счастливое состояние, которое они утратили, и если б кто вдруг им показал его вновь и спросил их: хотят ли они возвратиться к нему? – то они наверно бы отказались. Они отвечали мне (Достоевский незаметно переходит с условного наклонения на изъявительное): «Пусть мы лживы, злы и несправедливы, мы знаем это и плачем об этом, и мучим себя за это сами, и истязаем себя и наказываем больше, чем даже, может быть, тот милостивый Судья, который будет судить нас и имени которого мы не знаем. Но у нас есть наука, и через нее мы отыщем вновь истину, но примем ее уже сознательно. Знание выше чувства, сознание жизни – выше жизни. Наука даст нам премудрость, премудрость откроет законы, а знание законов счастья – выше счастья». Вот что говорили они, и после слов таких каждый возлюбил себя больше всех, да и не могли они иначе сделать. Каждый стал столь ревнив к своей личности, что изо всех сил старался лишь унижить и умалить ее в других, и в этом жизнь свою полагал...

... Стали появляться люди, которые начали придумывать: как бы всем вновь так соединиться, чтобы каждому, не преставая любить себя больше всех, в то же время не мешать никому другому, и жить таким образом всем вместе как бы в согласном обществе. Целые войны поднялись из-за этой идеи. Все воюющие твердо верили в то же время, что наука, премудрость и чувство самосохранения заставит наконец человека соединиться в согласное и разумное общество, а потому пока, для ускорения дела, «премудрые» старались поскорее истребить всех «непремудрых» и не понимающих их идею, чтобы они не мешали торжеству ее...»

Так мы переходим от сказки к действительности. Чем же реально смешной человек согрешил? Какой яд он внес в жизнь? Знанием, что  $A = A \neq B$ , и я не сторож брату моему. Логика казалась смешному человеку,

современному человеку, простым орудием, невинным, как молоток, и он поделился своим развитием с людьми, не понимая, чем это грозит, не чувствуя, как усиленная левополушарная активность рвет сердечные связи между людьми и меняет любовь на холодное одиночество, любующееся собой. Позволяю себе, как уже делал в семидесятые годы, процитировать ахматовский «Разрыв»:

И до света не слушаешь ты  
 Как струится поток доказательств  
 Несравненной моей правоты.

Со сна смешного человека прошло 127 лет. Прошло и рухнуло несколько попыток остановить нарастание сложности, противоречивости, запутанности цивилизации, сделать ее простой, непротиворечивой системой и всю жизнь устроить по началам разума. Каждый раз это кончалось прокрустовым ложем, массовыми убийствами не премудрых и крахом. Опыт нашей страны вызвал сознание опасности отвлеченной идеи, съедающей совесть: «У мужчин идеи были. Мужчины мучили детей», – написал Коржавин. Василий Гроссман показал, каким чудовищем становится идея добра, став отвлеченным принципом. Его герой, Иконников, противопоставляет идее добра дурью, нерассуждающую, сердечную доброту. Но дурья доброта может спасти отдельного человека, нескольких людей. Она недостаточна, чтобы сохранить цивилизацию.

Выступая в Париже, в 1974 году, Антоний Сурожский призвал христиан идти по Божьему следу, переступая через все принципы – научные, философские и богословские (русский перевод в «Континенте», № 89). Это на порядок глубже, чем призыв к сердечной доброте. Но как понять, как почувствовать, что такое Божий след? Уйти вглубь, отвечает Антоний. Всякий грех есть прежде всего потеря контакта с собственной глубиной.

Это разъясняется в речи на конференции Сурожской епархии 8 июня 2000 г.: «не упускаем ли мы момент, данную нам возможность стать из церковной организации – Церковью... Нам нужны верующие – люди, которые встретили Бога. Я не говорю в грандиозном смысле, не каждый может быть апостолом Павлом, – но которые хоть в малой степени могут сказать: я Его знаю!» «Надо вкорениться в Бога и не бояться думать и чувствовать свободно...» Не повторять старое, искать новые слова: «люди другие, времена другие, думается по-иному» («Русская мысль», 2000, № 4337).

Антоний возвращается к тому, что сказано у ап. Иоанна: «познаете истину, и истина сделает вас свободными». В основе этой свободы – «встреча», т.е. нечто сходное с тем, что юноша Блум (еще Андрей, а не Антоний) испытал, читая Евангелие от Марка: незримое присутствие Христа

в комнате, рядом с собой. Есть немногие люди, так или иначе почувствовавшие реальность Бога. И есть некоторое число людей, способных узнать «встречу», почувствовать печать ее в глазах и во всем облике человека. Они должны стать ядром церкви.

Сергей Аверинцев, очень любивший Антония, не мог с ним согласиться. В разговоре со мной он назвал позицию Антония «мистическим анархизмом», наследием ранних славянофилов, увлекшихся полемикой с Западом. Состояние церкви Аверинцев оценивал очень резко, он говорил мне, что православие изменится или погибнет. Но отказ от всех внешних ориентиров, доверие одному только глубинному внутреннему чувству казалось ему чрезмерным, грозило разрушить культуру.

Сейчас оба замечательных человека умерли, и приходится додумывать, в чем каждый из них прав. Есть две религиозные традиции, одна – зримая, делающая людей своими звеньями: прихожанами, священниками, архиереями, патриархами. Коротко говоря, это традиция, делающая людей, формирующая людей. И есть традиция людей, делающих традицию, создающих новую традицию или обновляющих старую. Обе традиции частично совпадают, но «не всякий, принадлежащий к зримой церкви, принадлежит к церкви незримой, и не всякий, принадлежащий к незримой церкви, принадлежит к зримой», – писал Августин.

Незримая церковь не имеет непрерывной истории, она то возникает, то исчезает. Без оглядки на зримую церковь, сохраняющей предание, ей каждый раз приходится начинать заново. А зримая церковь, подавившая незримую, порвавшая с ней, становится омертвелой «церковной организацией» и легко попадает во власть темных сил. Румынский фашизм «железной гвардии» опирался на православное богословие. Есть и другие примеры.

Церковь, собравшая только людей, переживших встречу или хотя бы узнавание встречи, могла стать всеобщей только после второго пришествия, с тысячью праведников. На сегодняшний день она оказалась возможной в такой епархии, как Сурожская, где годами излучалось обаяние колоссальной духовной личности и Антоний по-одиночке подбирал новых прихожан, с испытательным сроком в несколько лет. Это эсхатологическая церковь, меньшинство верных.

Отбрасывая полемический термин «мистический анархизм», можно назвать подход Антония эсхатологическим, а точку зрения Аверинцева – исторической, исходящей из реальных возможностей России, да и других стран. Я думаю, что между эсхатологической и исторической церковью и шире – между дважды два пять интуиции и дважды два четыре сложившейся интеллектуальной культуры возможен диалог.

В своей внутренней жизни Антоний сознавал это. Елене Львовне Майданович он как-то сказал: трезвость важнее вдохновения. Елена Львовна спросила меня, как это понять, я нашелся и ответил: так – для него. Вдохновение всегда с ним. Трезвость защищает его от экстаза, когда во взрыве всех сил могут вырваться и темные силы. А нам надо сперва загореться (от глаз рублевского Спаса, от глаз Антония), а потом уже думать, как удержать огонь в очаге, не дать ему спалить стены.

Когда-то я сформулировал простую идею: принципы, законы, правила должны выполняться, но не всегда, не вопреки совести. Глубокое сердце имеет право нарушить закон, правило, принцип. Глубокое сердце – король, воля которого – высший закон. Но царство законов этим не отменяется

Дважды два пять – превосходная вещь. Но если все хвалить, то дважды два четыре – тоже необходимая иногда вещь. Интуицию, устремившуюся в тайну Целого, приходится уравнивать левым плечом коромысла, рассуждением, основанным на логике, на атомарных фактах. Хотя нам, перекошенным влево, чаще приходится решать противоположную задачу. Эту задачу и ставит Достоевский в трех своих исповедях: в письме Фонвизиной, в «Записках из подполья» и в «Сне смешного человека».